
Федор Метлицкий
Федор Метлицкий. Записки графомана Повесть-эссе

Федор Метлицкий

Федор Метлицкий. Записки графомана. Повесть-эссе

«Автор»
2021

Метлицкий Ф. Ф.

Федор Метлицкий. Записки графомана. Повесть-эссе /
Ф. Ф. Метлицкий — «Автор», 2021

Начинающий сочинитель романтических стихов ищет необычную реальность, которую увидел в детстве на утесе в океане. Решает писать роман, и не может выйти за «корявую изгородь обыденного сознания». Мешает недостаток опыта и неверие в достижимость вершины сизифовой горы познания. Но был уверен, что сильные чувства находятся где-то в глубине его спящих чувств. «Чтобы усилить желание писать, нужно взглянуть в глубину трагедии существования человека». Понял, что творчество зиждется на трагедии. Во сне он беседует с шаманом.

© Метлицкий Ф. Ф., 2021
© Автор, 2021

Содержание

Глава 5
1 6
2 7
3 12
4 14
Конец ознакомительного фрагмента. 19

Федор Метлицкий
Федор Метлицкий. Записки графомана. Повесть-эссе

Глава

«Каждый хочет изменить человечество,
но никто не задумывается о том,
как изменить себя».
Л. Толстой

1

Зачем я пишу эти записки? Кому они сейчас нужны? В этом мире, разделенном на нации, угрожающие одна другой ядерным оружием, на большинство и меньшинство, на олигархов, средне обеспеченных, и на болезненно раскинувшиеся по нашей стране и миру бедность и нищенство.

Одни стремятся к безопасному и комфортному существованию, опасаясь изменений, другие рискуют, включаясь в борьбу за лучший мир. Профессионалы (узкие и широкие) взваливают ответственность на себя за поддержание жизни, а прилипалы искусно маскируются около них, раздувая щеки. Чиновники способствуют засорению отходами земли, под собою не чуя страны, а общественники-экологи беспомощно машут руками, нуждаясь в уплывающих мимо носа государственных ресурсах. Семьи забаррикадировались от соседей в своих квартирах, даже на одной лестничной клетке. Дети расходятся с родителями, не понимают друг друга. И, наконец, люди, разделенные в единстве противоположностей на мужчин и женщин, перестают сохранять это единство гендерных различий, воюя за свои права, за однополые браки.

Тем более сейчас, во время бушующей пандемии вируса «икс», которая не изменила, но еще более усугубила изоляцию человеческих страт. Мир распался на культурные резервации. Положительные эмоции и смыслы существования создаются только в среде себе подобных. Они создают свой круг, отдельный от внешнего зла. И только там сердце может вздрогнуть от горя, когда узнает, что сгорел от «ковида» один из «наших». Может, где-то есть и моя страта?

Любовь к своему, ненависть к чужому. Чужие – это на самом деле наивные искренние люди, просто живущие и радующиеся жизни; или непоколебимые патриоты, или хорошо устроившиеся в новой жизни бывшие оппозиционеры в молодости, изменившие соратникам из-за того, что поддались страху от падения великой державы, поневоле сами подталкивая ее к обрыву; или большинство – униженные и оскорбленные.

Если посмотреть иначе, люди разделены на две неравные половины: застывшие во времени, еще не созревшие до знания, что есть боль и страдание, и – ощутившие бег времени и боль расставания с близкими. Одни, опасливые к переменам, живут в мире вертикальных связей и во всем видят мировой заговор, другие – в мире горизонтальных связей, где живут всеядные люди мира, без родины.

Нужно ли пытаться соединять своих и чужих во взаимопонимании и сострадании? Чтобы как в семье, где люди могут проникнуть друг в друга так, что это становится близостью и любовью. Сочувствовать и жалеть всех, растворяясь в людях, видя в них свою настоящую боль, судьбу. Родину всех. Тогда остальное – установление справедливого распределения благ, приложится.

Если разделение людей будет продолжаться, то ответственность за состояние мира в целом развалится, и будет всеобщая катастрофа.

———

Меня всегда возбуждал вопрос: что – мне? Не нейтральному, а убиваемой судьбе? Не чем-то чужим – вот в эту минуту, а чужим – всей моей судьбе. У В. Пелевина вопросы еще круче: «Кто – я?», Где – я?», «Кто – здесь?»

Откуда во мне это беспокойство, чего хочу от мира?

Почему моя жизнь оказалась такой надломленной? Может быть, причина в нынешнем состояния общества, потерявшего национальную идею и смысл существования?

2

Я – выходец из советской системы, до сих пор, в XXI веке, с неустранимой темной сутью мечтателя о том, когда «народы, распри позабыв, в единую семью соединятся».

Я – оттуда, где первобытное племя на востоке было отрезано от других культур, кроме своей мистической фольклорной культуры. Отрезано от мировой культуры, литературы и искусства («Бстракт!» – презирали наши чужую культуру). Тогда невежество на окраине, вытирающей зады газетой, было естественным, не внедрено насильно, не то, что в более просвещенном центре, где дух был заперт диктатурой. И в моем детстве люди казались живущими в однотонном мире.

Я болен болезнью дикаря,
Вокруг которого – небо и море.
Как чистый лист,
первозданно восходит заря,
Но племя стоит,
затеряно в вечном просторе.

В молодости верил в романтические абстракции, в город Солнца. Тогда еще не читал догадки мыслителей, что эта вера на деле расчищала путь трупами чужих жизней – корень нашего жертвенного романтизма, не осознаваемый до конца и не описанный до сих пор. Романтизм родился в средние века, и выродился в пустые иллюзии, даже в мистику фашизма.

———

По типу мышления люди делятся на технарей и гуманитариев. Физиков и лириков. Так ли это, не знаю, ведь, многие технари пишут стихи и становятся бардами. У меня явно развито правое полушарие. Мою пустую душу естественно заполнили классики. Смотрю на них сейчас, на книжных полках моего кабинета-спальни, во всю стену. Пушкин, Достоевский, Чехов и другие, пробившиеся новые писатели, которые есть в библиотеках всех приличных интеллигентских квартир. Любимые авторы стоят обложками впереди, чтобы ласкали взгляд, когда просыпаюсь, а нелюбимые, плохие, спрятаны сзади. Когда открывал эти книги, не надоедающие тексты, от них исходила чудесная энергия. Правда, не понимал, как это им удается попадать в самое сердце читателя.

Думаю, что в моем воспитании было не только влияние любимых классиков. Что-то было во мне самом.

Жизнь моя началась,
как замысел вечности – с моря,
где жило первобытное племя –
пароходом, засевшим на скалах подводных,
и на берегу – дарами банок с томатной пастой,
и стеклянных шаров от сетей.

Я жил в не обычной для многих реальности. Как-то мы, школьники, всем классом совершали экскурсию – на катере выплыли из тихой бухты родного городка и очутились в океане, высадились на острове Буян. Там был райский пляж, над которым нависали сосны со стран-

ными широкими иголками-листьями вместо колючек, и вдали в бухточке стояли три высоких столба – утесы.

Вся усталость, когда карабкался на утес, исчезла. Когда удалось забраться на вершину одного из них, нам открылось нечто небывалое. Все тело трепетало, уходя в безграничную массу воды, казавшуюся неподвижной в светлой мгле, и одновременно текучей, как энергия. Вот-вот взлечу и унесусь в исцеляющую бездну.

На краю земли или в космосе –
Высоко над бездною вод,
В новизне небывалой утесы
Одиноко встречают восход.
Как народы, здесь травы склоненные
Жмутся вместе, а ветры метут!
Одиночество во вселенной
В новизну ли уйдет, в пустоту?
Только чайки парят над утесами,
Только ветер, лишь ветер поет.
Что ж туда – уже не вопросами,
А печалью неясной влечет?
Я шепчу: уте-е-сы, у-те-е-сы-ы…
И всегда возникает одно –
Вечный ветер, и травы причесанные,
Шепот вечности, не одинок.

Отсюда я видел целый мир. Это не мир иллюзии, не метафора, а реальность, что не знает голой предметности, не замечающей вокруг себя никого и ничего. Там нет бегающего глазами тщеславия, жадности слепого благоустройства, не видящего бездны. Реальная и притягательная энергия, в которой заключается все – и благоговение перед природой и жизнью, и глубокая печаль краткости, и боль потерь, и одинокий парус, ищущий чего-то в стране далекой, и неистребимая вера в бессмертие. Энергию океана можно изобразить словами, как что-то конкретное.

И много позже, когда засыпал, иногда, словно по мановению волшебной палочки, вставала иная, не обычная реальность. Стоял на высоком утесе, где шелестели никем не виданные высокие травы, и открывался океан детства, в его раскрытом безмолвии мира было все, о чем мечтал, и загадочная печаль.

———

Когда я приехал из провинции в центр и поступил в институт, то здесь жизнь представилась мне пресной, в которой недоставало чего-то.

В автобусе какая-то тетка, сидя с раздвинутыми в стороны толстыми ногами, спрашивала: «Как проехать к Матронушке?» И высадилась у могучего краснокирпичного здания монастыря-новодела, на кресты которого молилась большая толпа верующих. Наверно, ей больше некуда было пойти со своими семейными неурядицами.

На площади высилась большая горделивая елка, вся в цветных светодиодных игрушках, во дворах хлопки салюта, пьяное кружение гуляющих, – все это показалось мне проявлением детского незрелого сознания.

На улице люди в доспехах космонавтов бежали за убегающей группой людей, видимо, демонстрантов, били их дубинками. Мне тоже пришлось спрятаться в подворотне.

Поселился в общежитии, большом и многолюдном, студенты из моей комнаты сидели в ярко освещенном коридоре у двери на кипах книг и скучно зубрили учебники по скачанным из интернета экзаменационным билетам – это была ночь перед экзаменами.

Ярко освещенный широкий и длинный коридор не замыкался, был сквозной, проходя по всему периметру нашего этажа, и потому был очень уютным домашним местом для занятий прямо на полу и гуляний влюбленных парочек. Более того, парочки могли уединяться на пыльном захламленном чердаке под мощными стропилами крыши.

———

И я быстро забыл свой городок у океана, рыская вместе с приятелями в поисках любви и развлечений в ночных клубах. Гулял вдоль набережной реки с девчонкой, обнимал, прижимая гибкое тело к парапету, мучая ее и себя. Лихорадочно зубрил учебники – только перед самыми экзаменами. Я, одинокий нищий студент-провинциал, жил отчаянными надеждами, осиянными отблесками знания.

Внешняя, общественная жизнь, не внушала нам, студентам, большого интереса. Когда смотрели «телеящик» в комнате нашего общежития, в нем не было событий, которые нас бы интересовали, одни происки доминирующей мировой державы и «развлекаловка», или «жареные факты».

На «ток-шоу» яростные люди с ненавистными взглядами обвиняли оппозиционеров, представлявших угрозу их неплохому положению в иерархии общества. Это в отсутствие самих оппозиционеров, не могущих дать сдачи. Клевали только либерала, приглашенного в качестве мальчика для битья, – толстяка с модно не бритым лицом, когда-то занимавшего видный пост в прежнем правительстве. Он снисходительно смотрел, из неведомой высоты, на недоброжелательные лица, изредка пытался мощным голосом подавить неразумных, но его забивали криками.

Я чувствовал на себе наглую усмешку красотки ведущей, перебивающей противника наглым голосом. Странно, как влияет идеология на интерес к женщине! Брр… Мне было противно подумать об отношениях с ней.

Телеведущие в фирменных кителях и костюмах, осенив себя крестом перед невидимым милосердным богом, вели ток-шоу, заполненные распрями потомков известных людей из-за наследства, горестями разлученных семей, брошенных в младенчестве детей, по всей географии страны, видно, для поучения гражданам. Соболезновали страдающей молодой матери, брошенной мужем и изгнанной из дома и общежития, которой пришлось подбросить ребенка в детский дом. Наверно, в жизни, а не на экране, таких случаев гораздо меньше.

На экране были и жизнерадостные события. Показывали пионеров-участников военно-патриотического лагеря, они дружно пели:

Вы скоро, наверно, на Марс полетите,
Космический мир покорять.
Пожалуйста, нас с собой захватите,
Мы тоже хотим все узнать.

Мы просиживали часы за компьютером в кабинете информатики, получая сведения о мире в интернете. Там мир был разнообразным, независимые каналы и блоги казались более правдивыми.

***

Как и все иногородние студенты, я существовал на скудные деньги, которые исправно присылали мне родители на прожитие. Все еще не привык к новой реальности. Все удивляло, и поэтому все принимал. Как говорится, был вне политики, как эстрадные певцы и артисты, воспевающие любовные томления. Общество, требующее быть патриотом, мужчиной, воином-победителем и т. п., не мешало мне. Но не хотел, чтобы навязывали, как жить. Чего же хотел? Не знал, я был всеяден.

Меня почему-то увлек литературный кружок, который вел коренастый поэт в шерстяной кепке набекрень, под Маяковского.

Нас, бездельников, было много, пишущих о заре, полевых цветах, птицах в небе. Он поражал жестким выражением лошадиного лица:

– Ничего нейтрального нет! Посмотрите на лес, – показывал за окно. – Вообразите, что за ним… Освенцим. Какие у вас будут краски, настроение?

Я писал стихи. То есть изредка из меня нехотя выходили какие-то строчки, словно не мои, а кем-то надиктованные.

Сила воображения оживляется, когда задумываешься, сочиняя стихи. Стихами мог лучше выразить смутное видение: что – мне? Потому что перед глазами сразу возникала не картинка, а сама судьба, с тревогой и печалью глядящая в будущее. Все мое мироощущение – как на тарелочке. Органная мощь нутра, глубинное шевеление гениальности. Сложная ткань текста, а не что-то плоское, социальное. Дух рождается на вершинах мук и наслаждений.

Площадка поэзии – целый мир, а не мое конкретное место у книжных полок библиотеки. То есть, дело в «охвате всего», а не в изображении картинки.

У всех времен распахнута душа,
И в «формуле весны» грядет наука,
И сквозь пропеллера стрекозий шар
Дивишься, бездной кривизны испуган.

Так что, до мысли об изменении общественного устройства, о котором мечтали мыслители, я еще не дорос. Но чувствовал, что зависимая жизнь моей податливой натуры – это страшный удар – в самое сердце! – по человеческому достоинству. До сих пор испытываю странную ностальгию от песни «Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля…», обнаруживая в себе «совка». Во мне тоже сидит «дорогое прошлое». Перелеты наших летчиков в Америку, челюскинцы, Тимур и его команда, Любовь Орлова. И недосягаемые высоты подвига людей в отечественную войну, и полет Гагарина в космос. И в то же время море на окраине земли, классики литературы, раскрытый мир школьных друзей.

Это не расходилось со временем, и к тому же так ощущать его было безопасно. Но я уже чувствовал какой-то обман, и сердце было сухим.

Что-то здесь не так. Ведь, всегда хотел жить в «родине всех».

Я лимитчик без родины вечной.
Не она ли – бескрайний блеск
На краю земли этой вещной,
Там, где детства прозрачный всплеск?
Но давно распах изумрудный
Бухты детства канул в годах,
И в моем лимитчестве трудном
Что излечит, какой же распах?
Сколько было свободы простора
Уходить в бездонность стихов,

В безоглядном любовном напоре
И в отверженных зорях садов.
Жизнь неважно, наверное, прожил,
И не вышел в расправленный век.
Что мне надо? Лишь снятия ноши,
Тяжкой ноши на сердце у всех.
И в какие б ни канул свободы,
Все томит меня ноша, как грех —
Одиночество без заботы,
Что излечит лишь родина всех.

Почему моя жизнь отделена от жизни всех? Или единой боли всех нет? Может быть, мое одиночество – совсем не в метафизическом заторе сознания?

Редактор молодежной газеты упрекала:

– В твоих стихах есть что-то безвоздушное.

3

Окончив институт, я вышел в мир, раскрыв «варежку».

А на улицах шумел важный серьезный мир, выше моего понимания. Люди в основной массе, как и мы, студенты, мало обращали внимания на политику, на то, что делает власть. Человек в своей социальной жизни вложен в Систему. Вся страна живет в одной Системе, как во времена моих родителей. Все знали, что ее надо укреплять, и родная власть делает все, чтобы нас защитить от окруживших нас ракетами врагов. Хотя бродили зловещие мысли, что она нуждается в изменении, а лучше в полной замене. Почему бы в Системе не иметь места всеобщей близости и пониманию?

Люди жили настоящей жизнью, в своем обыденном сознании, – вне политики, радостями и заботами о своих семьях и родственниках, о продолжении рода в потомках. Сторонились или подлаживались под власть, обладающую дубинками насилия, что опасно или губительно для них. Люди казались немыслимо сложными в оттенках изворотливости, фальши, равнодушия, ненамеренной жестокости и тупости. Хотя было что-то детское в отношениях, как в двусмысленных шуточках по поводу притяжения полов. Был поражен, как простые и грубые интересы некоторых служивых людей открыто прикрываются преданностью родине, патриотизмом, защитой государства, осажденного врагами.

И все чувствуют нестабильность, переходящую в истерику. Тут не нужна поэзия.

Почему люди не хотят выйти за пределы своих обычных забот, обыденного сознания? Неужели это страх за свою жизнь, перешедший в стокгольмский синдром? Ведь, я ищу, потому что задыхаюсь! Во всяком случае, недавно искал. Зачем заставлять людей искать что-то еще? Гамлет говорил о бедном Полонии: «… ему надо плясовую песенку или непристойный рассказ, иначе он спит».

Короче, я столкнулся с обыденной реальностью, рациональностью мышления. Это была другая способность видеть, отличная от той не обычной реальности, которую испытал.

Я самонадеянно считал, что обыденное сознание, в отличие от моего, – это то, когда обыватель знает обо всем понаслышке, не интересуясь глубиной событий. В его душу проник лишь один источник информации о мире, который только и был доступен для него и переродил сознание – государственный «телеящик», и он, уверенный в его непогрешимости, отвергает альтернативные источники, например, интернет.

Один из представителей народа фыркал:

– Оппозиционеры? Они все предатели.

– Можно узнать, почему? – спросил я.

– Ты что, телевизор не смотришь! – грозно сказал он.

– Я интернет…

– Помойка – ваш интернет!

Избегание ответственности, унижение достоинства – мотив любой формы коллективизма (тогда я читал психолога В. Франкла, бывшего узника Освенцима).

Люди верят в иллюзии, идут ощупью не зная куда, и цепляясь за спасительные общие истины. Потрясения могут их убить, и потому им хочется только приятного, развлечений. Оттого они смешны и даже милы. Я почему-то сострадал и жалел наивных людей. Всегда страшился только тех, кто ведет их насильно, убежденный с своей жестокой правоте.

Давным-давно отодвинулись куда-то годы войны, когда люди были собранными, плоскими и однозначными, ответственными за страну, отлитыми из цельного куска стали. Если бы

была война, я тоже был бы чистым и цельным, «пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать».

Люди расслабились, вспомнили о хорошей жизни, и захотели пожить, иметь блага, выбиться на другой уровень. Брать на себя ответственность, любить и ненавидеть, – слишком тяжело. Все приспосабливались, как встарь, иначе человек не выживет. Возжелали престижных вещей, удовольствий и развлечений, что дает развитие компьютерной техники, искусственного интеллекта, создание биороботов взамен себя, отчего теряется чувство ответственности за сохранение рода, развивается эгоистичность и лень.

И я такой же, хотя во мне есть красная черта, ниже которой не позволяет опускаться совесть. Хотя иногда не удерживался от мелкой подлости особенно когда изменял подруге, но потом всегда помнил, и при воспоминании обжигал стыд, как нечто постыдное и страшное.

Короче, мы лишаемся способности мыслить и трудиться. Зачем, если работу за людей выполняют машины, автоматические линии и роботы? Пусть это не отменяет неравенство в использовании ресурсов и уровня жизни таких, как я, нищий студент.

Как пишут ученые, в результате научно-технического развития снижается рождаемость населения. Человечество, избалованное комфортом, растеряет в оранжерейных условиях данный ему природный инстинкт продолжения рода. И дети, которые родятся к 2080 году, станут последними жителями Земли. Рождаемость снизится до нуля. Я не мог вообразить, как это? Любовь, а значит, и дети будут всегда.

Неужели когда-нибудь все закончится? И не нужно будет оставлять что-то после себя? Разве миллиарды умерших, оказавшихся сзади нас, и все гении истории, проложившие путь человечеству, не исчезнут вместе с планетой, которую может уничтожить пандемия, или сами нынешние поколения?

4

Я хотел не славы, на самом деле искал неведомый смысл, желая разобраться в себе и мире. Всегда хотел понять, для чего все это? Почему занимаюсь не тем, что хочу? А что хочу?

Ответить на эти вопросы могли только поэзия и литература. То есть необходимо было – время уходит, скоро буду стариком! – срочно искать ответа стихами и прозой. Хотелось писать не ежедневными впечатлениями, а судьбой. Ведь, после тяжелых и бесплодных усилий выразить словом что-то – вдруг открывается нечто пронзительное, истина! Это маленькое счастье творца.

Хотя все же Плиний младший оставил книгу писем – форточку в Древний Рим, и его запомнили последующие поколения. Я был непрочь остаться в истории хотя бы Плинием младшим.

Наверно, я родился с какой-то кровоточащей трещинкой в сердце, не дававшей мне покоя, как, например, у кумира моего детства Лермонтова, с его детскими стихами «… в моей душе, как в океане, надежд разбитых груз лежит».

Я ищу небывалой жизни.
Как сильна прикипелость к стиху!
Графоманство жерновом виснет
Непомерных темных потуг.
Страх ли в них государственной мощи,
Или биологически смят?
Я густую темную ношу
Сброшу – в новом рожденье меня.
Там, за этим – я весь нормальный,
Как нормальна свежесть веков.
Что же прыгает аномально
Здесь – к неясному выходу зов?

Инстинктивно опирался на нечто главное, что сидело во мне. Желание вникнуть в суть вопросов: что хочет от меня космическая реальность, и чего мне от нее надо? – могло вывести на какой-то верный путь – мог писать уже что-то определенное, что не отдавало бы нестерпимой фальшью бессмысленности.

——

Я не из тех, кто, влюбившись сразу по взрослении, навешивают на себя вериги в виде семьи. Не думал о семье, не хотел детей, это не по мне. Упрямо решил посвятить себя литературе.

Когда я писал стихи, то словно выскакивал из обыденного сознания. Было непонятно, как получается так. Без рациональной разборки этого механизма ничего не мог понять – как выхожу туда, в свободную исцеляющую ощупь?

Однако стихи чем-то не удовлетворяли. Наверно, все могут писать стихи, особенно о любви. Приходит вдохновение, даже у домохозяйки, и появляются дивные строки, которые даже поют в народе, распространяются повсюду. Но чего мне в них не хватает? При всемирных потрясениях, тяжкой доле народа петь только о любви – как-то становится совестно. Как будто здесь есть нечто поверхностное, нарушается равновесие, гармония.

Мои стихи казались мне чем-то несерьезным, погруженным в романтическую туманность, пустую вечность, а не в реальную жизнь. Хотя поэзию почему-то принижает и обращение к социальным проблемам, негодование по поводу запрещающих действий властей, неудовлетворенность, приспосабливание к потребностям в угоду чему-то. Тем более идеология – это не истина души.

Сейчас людям не до стихов (или не до плохих стихов?). То ли дело широкое полотно повествования, в ореоле мечты, охватывающее жизнь целой эпохи и заглядывающее во все уголки мироздания! Хотя людям и до этого мало дела.

Я всегда хотел писать прозу, более содержательную и разнообразную. Но когда переключался на прозу, в душе становилось все серым. Исчезала та пронзительная печаль, когда писал стихи, видя с утеса непостижимый океан. Почему-то отрывал изображаемое от переживания всем нутром. Смотрел слепыми глазами на внешние картинки, исчезала органная мощь нутра, увидевшего все. Что бы ни писал, было скучно даже самому себе. Может, утратил навсегда иную, необычную реальность? И потом, осмысление мира с точки зрения романтического устремления в «не обычный мир, безгранично близкое», – всего лишь «неземная» эмоция.

Все время был уверен, что текст должен быть сильнейшей эмоцией, переживанием полета в безгранично близкое. Или физическими муками одиночества в отчужденном мире. Дух и тело должны испытывать потрясения. Ярость и безрассудство ухода в истину.

Но погружение в эту энергию постепенно превращалось в сомнения.

А где бесчеловечность эпохи, ее жуткое равнодушие к людям? А как же плачущие от обид, беззащитные и униженные, отвергнутые миром? А как быть с засилием пошлости? Надо ли заточить негодование, как оппозиционеры? И вместе с ними выходить за изгородь, внутри которой кроются все обиды и унижения?

А где же холодное осознание всех механизмов и винтиков развития человечества? И вообще, что такое живое, фантастически развившееся из амебы, о чем вопрошал Н. Гумилев?

Как некогда в разросшихся хвощах Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах Еще не появившиеся крылья…

Откуда сама амеба, возникшая из мест немыслимых температур вселенной?

Нужно познание и рациональное, разумом. Но мышление – субъектно. Невозможно мыслить без отношения человека к миру в его различных настроениях, чувствах, действиях и поступках. Как родится истина, предмет духовного исследования? Логической структурой познания бытия? Как объективные черты оказываются присущими предмету духовного познания?

Рациональное познание – это отстранение от себя, модель чего-то иного, чем бездумное ощущение. Игра, чтобы раскрыть глубины, которые ничем другим не открыть. Непонятное желание увидеть мир отстраненно – связано с осмыслением разумом, то есть отпадением от животного ощущения мира. Хотя в глубоком знанье жизни нет. Но есть страшное осознание человеком себя, у которого нет знания.

Мне было страшно – как много надо знать, перелопатить столько материалов, вобрать в себя столько смыслов, чтобы уяснить свой! Это неподъемно!

Мешал какой-то привычный круг внутри уродливой, но прочной изгороди в сознании, через которую не мог даже перевалить, не то, что перепрыгнуть. Перед которой я метался в разные стороны, оставаясь неучем и графоманом. Затор в метафизическом устройстве живого существа.

За кривым забором обыденного сознания меня цепко держало то, что неосязаемо подхватил из всех мнений, газет и телевидения. Правда, и из великих книг, ставших затрепанными цитатами, которые штудировал, беря их в библиотеке. Это и было моим смутным убеждением.

Мои мотивации не связаны с социализацией личности. Не было точек опоры в обществе: у меня нет постоянного места, осмысленного образования, привязывающей к жизни семьи, работы, имущества и т. д., что могло бы увлечь в глубины конкретного мира.

Что меня влечет к писанию? Если глянуть на это со стороны, то, кажется, это болезнь, ибо для автора литература – это не жизнь, она выедает жизнь.

Я читал книги взахлеб, в основном по ночам, хищнически потреблял информацию о мире, не понимая скрытых намеков смысла, тем более общих смыслов истории, не знал, что мне нужно. Мысли уносили от физического ощущения тела. Но смысл так и не выявлялся. Я портил бумагу, инстинктивно изображая персонажей в виде отдельно положительных и отдельно отрицательных людей, себя, естественно, подразумевал демиургом.

Путалась под ногами мысль: какая связь между словом и переживанием человека? Как присваиваются имена переживанию? Почему одни могут вырвать из себя «огнедышащее слово», по выражению Гоголя, «так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих», а другие накручивают жесткие, как проволока, строчки? Да где ж его найти, это огнедышащее слово? Это же продукт неистового желания высказать все – Другому! Чтобы писать интересно, надо задевать самые сокровенные струны души человека, оскорбить его правдой. Научить его гневу. Кровоточить сердцем!

«Что задевает? – заклинал я в дневнике. – Влюбленность, смерть близких? Измена, наглый обман, преследование? Жалость, одиночество, поиски исцеления?»

Текст должен быть отблеском подлинной бездны человеческой души, истории, необычного мира. А переживание обретается в конкретной обстановке существования – когда резко воспринимаешь отношение к себе – теплое расположение или холодность чужого тебе человека. А во мне недостает силы переживания, откуда исходит оценка образа, и не включается настоящее *думание чувством*? Может быть, у меня нет механизма слияния слова с переживанием, оно у меня немо, и я трещу помимо переживаний. И точность образа не зависит от силы переживания. Мозг обрабатывает образы, но оценка отсутствует.

И как описывать отрицательных персонажей, которых видел сплошь, – ведь они скучны! Но почему пустая баба Чехова, видящая себя цветущим вишневым деревцем, интересна? Думал так, пока не понял, что таких нет. Ни во мне, ни в других нет исключительно положительного или отрицательного. Во мне, положительном, столько говна – неумения разобраться с тенденциями, баболюба и балабола, хитрована в делах, тонко рассчитывающего, что и как для меня лучше. И не очень доброжелательного к ближним.

И не умел плести интригу: удивляться действиям героев, не догадываясь – что дальше: «Он, пряча какие-то бумаги, вышел». Выкладывал все карты сразу, наверно, оттого, что заранее знал конец. На сюжет среднего детектива нанизываются одинаковые коллизии с внешними физическими переживаниями – убийства из ревности, из-за бабла, но только не внутренние драмы бессюжетного артхауса («авторского кино»), и не моей исповеди. Книги о Холмсе Конан Дойла были не детективами, а преступным воздухом старого Лондона, «Преступление и наказание» Достоевского – не детективом, а психологией бунтующего петербургского студента. Я предпочитал духовные коллизии, хотя они скучнее и не нравятся большинству. Жизнь — загадка, которую нельзя разгадать. Тайна – в недоговаривании, говорил Пушкин. Что было дальше с Дмитрием Дмитричем Гуровым и дамой с собачкой с их тянущейся запретной любовью, никто не знает. Только по прошествии ста с лишним лет мы догадываемся — ничего хорошего их не ждало.

Не говоря уже о диалоге. Чтобы был живой диалог, надо, чтобы персонаж необъяснимо привлекал, как девушки, которых любил, или бешено злил, как тот бригадир в строительной бригаде, где мы, студенты, отрабатывали практику: «Мне мэтры давай, мэтры!» У меня же это прямое столкновение идей, в которых борются друг с другом бумажные герои. А где персонажи во весь рост, их биографии, где история, и место, где должны находиться спорящие? Жесты, внутренний диалог?

Чувствовал также, что не могу видеть мир метафорически, то есть оживлять абстрактные мысли, или объекты, чтобы они трепетали, уходили от ужаса – у сердца! – в иные грустящие безмерности. Хотя в стихах ощущал себя хозяином метафоры, и говорю метафорами, не сознавая этого. Сам язык – сплошь метафоричен! Но мои метафоры исходили из абстрактной мысли, откуда-то сверху, а не из реальных событий, рождающих метафоры смысла. Но и метафора – это еще не все, она однобока.

А главное, сразу вставала та уродливая изгородь будничных событий, внутри которых прозябал. И преодолеть фотографичность взгляда не было сил, не мог включить переживание. Переживание – это включение всей личности в мироощущение, трепет судьбы. Нюансы чувств, укрупненные до судьбы, помещенной во вселенную!

Мое же зрение отключало переживание. Общественная жизнь была чужда мне. Поэтому не мог построить крутой сюжет, тем более детективный. Как его строить, когда мысли лоскутные?

И – во мне нет иронии! То есть изображения с серьезным видом глупостей человеческих. А это, ведь, из окукленности обывателя, смешного в своих попытках приспособиться, не видящего со стороны своего прозябания и воспринимающего себя слишком серьезно. И потому считающего себя главной персоной мира. Ирония, юмор возникают, когда относишься серьезно к тому, что низко. Внутренняя комичность людей в их утробной правоте. Как смешна грызня между странами из-за своих интересов! Как смешны виляния изворотливых людей, чтобы преуспеть! Их предрассудки, чудачества. А смех над собой, жаждущим открыть необычную реальность? Жизнь нелепа и загадочна.

Я жил случайностями, не придавая значения историческим связям. Сартр говорил: «Мгновения перестают наугад громоздиться одно на другом, *(когда)* их подцепил конец истории».

Загадка – сам мир. Я еще не знал, какую интригу можно сделать из этой загадки.

***

Мои рассказы я отдавал в редакции. Это были тексты, как у многих других, по таким же рецептам, какие рекомендовали критики – описатели классиков, уверенной рукой размашисто писавшие:

«1. Герой борется, запутывает все, за четверть до конца книги должен быть третий сюжетный узел: происходит фатальное событие, после чего изменить уже ничего нельзя.

2. Кризис неотвратим! На героев и читателя опускается осознание трагедии. Зло победило. Как выпутаться?

3. Кульминация: или герой перерождается, совершает невозможное, либо терпит крах. Желателен катарсис – мощное чувство очищения. Читатель должен ощущать себя сильнее, чище.

4. Развязка – удовлетворение всех вопросов. Все связано с идеей и темой».

Стандартные авторы изображают «образы», в их уста вкладывают монологи и диалоги, и, чтобы не быть описателем скучного настоящего, уходят то в крутую историю, то в непохожее будущее, чтобы хоть как-то оторваться от тупой натуры. Стремятся, чтобы читатель испы-

тал потрясение, животный страх – как в сюжетах преследования. Следуя Хичкоку, используют контраст между незнанием жертвы и знанием автора о зловещих последствиях.

Как-то посмотрел телефильм: уголовники поймали красавицу, невесту героя, стали ее насиловать. На этом серия окончилась. Ночью перед сном навязчиво вставала мысль: изнасиловали? Следующим вечером бросился к «ящику». Оказывается, в следующей серии герой успел перестрелять насильников и развязал пленницу. Отлегло: не успели изнасиловать!

Это натурализм наоборот, идеи их книг те же, из привычных восприятий. Они перепрыгивают через изгороди будничных событий прямо в общепринятые истины, или гонят сюжет вообще без истин, не стараясь самостоятельно карабкаться на неприступную вершину горы познания, куда безуспешно взбирался Сизиф.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.